

* * *

E. Y.

Наверное, так крадётся старость...
ноктюрн сентиментальный льёт.
И правды всей не нужно даром,
и горло схватывает лёд...

А может, так приходит зрелость,
когда нет страха высоты,
когда сырое — разгорелось (!),
как свет от гаснущей звезды...

Должно быть, так проходит младость,
когда все кончилось ничьей,
судьба постельная не в радость
и ценишь вкус домашних щей...

А впрочем, это просто юность
до дна небес своих коснулась
и обернулась, улыбнулась:
— Я всё равно тебя люблю!

* * *

В этом городе ждёт меня женщина.
Больше не ждёт никто.
Мне бы надо (с улыбкой шершня)
глянуть в зеркало, взять пальто,
брякнуть ключами весело,
крикнуть таксисту: “Стой!” —
и перед этой женщиной
выпасть, как лист резной...

Рассказать, что в поэзии чёртовой
снова видел дощатый гроб,
что стволом она мне упёрта
точно там, где целуют в лоб,
что живу, словно дождь, отскакивая,
превратив свою жизнь в сигнал,
а на сердце такая накипь...
будто я проиграл...

Мне бы надо пойти и сдаться.
Но ведь ты —
это красный свет
в тишине,
на конечной станции...
Потому-то тебя и нет.

Потому и таксист не ловится,
ключи не смешно бренчат,
и хочет пальто на лестницу
свалиться, как тень с плеча...
Но родная моя! Приеду я,
сосчитаем цветы до ста.
Чтоб и дальше ломать трагедию,
я поверил в твои уста.

ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ

Есть у человека — Просто Дом.
Окна для дождя и свет кругом.
В нём порог и главное — семья,
и в объятья тянется земля.

На крылечке воздуха вдохнёшь
и покой на выдохе найдёшь.
Можно здесь трудиться и любить,
а по воскресеньям — в храм ходить.

Есть у человека — Вечный Храм:
дождь по золочёным куполам,
а внутри сияет каждый лик,
на луче пылинкой замер миг.

Строки, чётки, истины, года, —
можно здесь оставаться навсегда.
Главное — поверь, что это рай,
и напрасно дверь не отворяй...

Истину не делят пополам.
Свечка — в сердце, черти — по углам.
Будешь разрывать в пылинки миг —
главное, чтоб Дождь не смыл твой лик.

МОНОЛОГ ОПОЛЧЕНЦА. 1613 ГОД

— Эти лёта прошли на восход и закат,
как отряд, что в ненастье идёт наугад.
Ничего ты, парнишка, не видел...
Расскажу. Хоть помрёшь не в обиде,
а? Не бойся! Уже сердце знает предел.
Мы бессмертны, да только народ поредел,
лишь молитва, как присказка, лечит,
примирия в душе чет и нечет...

— Надо, хочешь — не хочешь, вставать и идти,
волю русскую дальше на запад нести.
Отрывай от землицы лопатки,
громоздись на каурой лошадке.
Шевелись. Что ни день, то указы звучат —
только ружья трещат да копыта стучат!
А как вспомнишь... Годами без проку
бились лбами крестьянскими мы о дорогу...

— Сколько раз нам казалось, что нет больше сил?
Разве пахарь по совести всех не просил?
Хохотали господские свиты!
И топтали клочки челобитны!
Выходило, что нет для тебя и меня
правды большей на свете, чем два кистеня,
чем огонь, для души и сугрева,
и дымище мужицкого гнева...

— Самозванцы?.. Но доброго нету царя —
мы встречали, молили, надеялись зря.
Все князья и бояре на деле
животов наших тощих хотели!
Снова висельным гиком кружился ответ:
“Почему на Руси не прожить сорок лет?
Почему с летописного века
под тяглом на земле не видать человека?..”

— Лишь потом над пожаром восходит Господь,
собирает в ладони и души, и плоть,
и проклятие — всем! — Гермогена,
и погибель смоленского плена...
И на Сретне князь Дмитрий глянул в небеса,
снял шелом, окрестился и тихо сказал:
“А и мне помирать неохота...
Но Россия — такая большая работа!”

— Через год вполукруг у Москвы у реки
все остатние наши стояли полки.
И литовские выли фанфары.
И орлами кричали гусары.
У гусар польских — ай! — хороши палаши,
прорубают и бревна до самой души!
Их не держат простецкие латы,
но хоть гнулись, а бились — держались робяты...

— Налетали полдня — много их, сволочей!
И у нас отнималось упрямство плечей,
было в ноздри дыхание тлены —
левый фланг уж в реке по колено!

И почуял я, брат: видно, всё... Не могу.
Кинул взором, а там, на другом берегу —
казаки! Отвернулись от сечи,
сабли в землю воткнули и сгорбили плечи!

— Тут я вырвал коня и согрел я коня!
Конь венгерский с испугу и вынес меня
из воды на высокий тот берег...
Будто мне воздавалось по вере.
И узрел я оттель, что, ничуть не разбит,
полк Пожарского камнем последним стоит!
И узрел я, что этого мало...
И так горько, так тяжко мне стало!..

— Где я духу нашёл?.. Закричал “Казаки!
Что — ковыль не касался заросшей щеки?
Или нету булата, стремян и руки?
Что ж вы медлите, братцы мои, казаки?!
Ни чуваш, ни татарин не стали смотреть,
как грызет княжью рать бусурманская смерть!
И у вас — нет ответа иного...
А у нас, казаки, больше нету вам слова!”

И... рванули пять сотен! А за ними — ещё.
У чубатых с насекому короткий расчёт...
Говорили, что злым был и бледным
пан Ходкевич — лихой польский гетман.
Одолели! Но долго ещё у Кремля
ожидала последней победы земля.
Да сходились умом и собором.
Да сшибались лукавством и спором...

— И когда под ногами почуяли брег,
с неба чистый тихонечко сыпался снег —
над страной, словно вздох, опустелой,
над уставшей без доброго дела...
А наёмники бродят по нашим костям,
по заглохшим за десять годов волостям...
Правы старцы. Наглеют вороны,
если нет на Московии крепкой короны!

— Будем век ещё спины и выи сгибать
и хребтами крестьянскими гать выстилать...
Иногда всё забыть — слышь? — охота.
Ну, Расея... Какая большая работа!
Надо, хочешь — не хочешь, а встать и идти,
на лопатках старинное солнце нести,
как решило соборное вече...
Подымайся! Пора, человече...

— Как дойдём... у меня есть заветная страсть:
надо польку упрямую в жёны украсть!
Слаще злые мне кажутся девки.
Пусть задорными вырастут детки.
Хоть я сам по отцу деревенский мордвин,
будет панночкой дочка и всадником сын...
Чай когда-то и мы, брат, воспрянем!
Наградит государь во дворяне,
а?